

Зеев Бар-Селла

“Тихий Дон” против Шолохова.

Проблема авторства романа «Тихий Дон» – проблема непростая. И первый вопрос, на который необходимо ответить, – обоснованно ли утверждение, что автор этот – не Шолохов?!

Все выдвинутые до сих пор возражения против шолоховской кандидатуры («случай, небывалый в мировой литературе...», «материал, далеко превосходящий жизненный опыт и уровень образованности [4-х классный]...», «художественная сила, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера...», «слишком много чудес!» – А. Солженицын) являются умозрительными.

От таких вопросов можно уйти (и уходят) с легкостью: если Шолохов – автор романа, тогда он – гений! А гению закон не писан!

Остается, однако, главный свидетель обвинения – роман «Тихий Дон». Роману рот не за-ткнешь! Продолжим же слушание показаний романа...

Столыпинский галстук

Сюжет главы 14-й части первой несложен: Степан Астахов, извещенный об измене жены, возвращается домой после лагерных сборов; дома он зверски избивает Аксинью; расправе пытаются помешать два брата Мелеховы – Петро и Григорий... Финал главы:

«С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховым и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпиным».

И, действительно, согласно 4-й главе части 4-й, в бою под городом Столыпиным Григорий Мелехов спасает Степану Астахову жизнь.

Рассказ об этом спасении включен в занимательное три страницы изложение воспоминаний Григория о военных событиях 1915 – 1916 годов (майские бои под деревней Ольховчик; июльские – под Равой-Русской; стычка под Баянцем; город Столыпин; Луцкий прорыв в мае 1916-го)...

Никаких противоречий здесь вроде бы не обнаруживается. Разве что захочется задать один вопрос.

Рава-Русская, Луцк, Баянец, Восточная Пруссия, Столыпин... Стоп! Нет такого города. Рава-Русская есть, Луцк имеется, а Столыпина нет. Был, правда, один – Столыпин, Петр Аркадьевич. Да только он не город, а Председатель Совета Министров...

Зайдем с другой стороны. Когда состоялся этот бой? С. Н. Семанов, составивший биографию Г. П. Мелехова, относит его к 1915 году*. Действительно, в тексте рассказ помещен после воспоминаний о боях летом 1915 года и перед мыслями о Луцком прорыве в мае 1916-го. Значит, Восточная Пруссия, лето 1915-го? Но летом 1915-го никаких боев в Восточной Пруссии не было. Что ж было? А было то, что после Августовской оборонительной операции русская армия Восточную Пруссию оставила. Имя же свое Августовская операция получила не по времени (месяц август), а по месту – город Августов. Началась же эта операция 25 января и закончилась 13 февраля 1915 года (7 – 26 февраля по новому стилю). Вернуться в эти места русские смогли ровно через 30 лет – в январе 1945-го.

Прекрасно! А что мы видим в тексте?

«Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля...» (ч. 4, гл. 4).

Не снег на полях, а поля! Но если поле снегом не занесло, зимой следа на нем не оставишь, промерзшая земля под копытом не вдавливаются, а звенит!

«Ветер сорвал с Григория фуражку...» (ч. 4, гл. 4).

Фуражку, а не папаху, как положено по уставу! А ведь в русской армии по сию пору переход на зимнюю форму одежды происходит в октябре. Значит, для Григория Мелехова и всего 12-го казачьего полка лето 1915 года наступило в январе?!

*Семанов С. Н. Григорий Мелехов (Опыт биографии героя романа М. Шолохова «Тихий Дон»). – альм. «Прометей», т. II, М., «Молодая гвардия», с.112.

Существует ли какое-то объяснение этому разгильдяйству?

Да, и ключ к разгадке – город Столыпин.

«Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпиним» (ч. 1, гл. 14).

Дело в том, что по внутренней хронологии романа (с этим согласен и С. Н. Семанов – Указ. соч., с.108) драка братьев Мелеховых со Степаном Астаховым произошла в середине лета 1912 года. И, следовательно, слова «два года спустя» означают – лето 1914 года! Тут, как нельзя кстати, «город Столыпин». Это четкое и недвусмысленное указание на один-единственный день – 4 (17) августа 1914 года.

Города Столыпина на карте Восточной Пруссии нет и не было. Был город Stallupönen, в нынешнем русском написании Сталюпенен или (более близком к немецкому оригиналу) – Шталлюпенен. На русских же штабных картах 1914 – 1915 годов город этот назывался: Сталупенень. Он дал имя первой в европейской войне наступательной операции русских войск – Сталлюпененское сражение.

Для чего пришлось перекорректировать славное в истории русского оружия имя? Ведь «Столыпиним» он назван дважды, причем не в речи персонажей, а в авторской! А правильно он вообще ни разу не назван!

Причина – Шолохов. Он не сумел прочесть название города в рукописи и, переписывая, поставил, вместо правильного (в том числе и грамматически): «под городом Сталупенен», свое дурацкое: «под городом Столыпиним».

Нас поджидает, однако, еще один сюрприз: дело в том, что Григорий Мелехов никоим образом не мог спасти Степана Астахова в Сталлюпененском сражении, поскольку с июля по август 1914 года безотлучно находился в рядах 8-й армии, действовавшей на Юго-Западном фронте (ч.3, гл. 5, 10 – 13, 16, 17, 20), откуда по ранению (ч. 3, гл. 20) отбыл прямо в московский госпиталь (ч. 3, гл. 21,23).

Как это все понять, объяснить? Объяснение одно: замысел романа сформировался не сразу, и Автор какое-то время колебался, на какой фронт – Северо-Западный или Юго-Западный – послать своего героя. Иными словами, Автор не сразу решил какой роман писать – «Тихий Дон» или «Август Четырнадцатого».

Отправив Григория Мелехова в Галицию, Автор тем не менее захотел сохранить эпизод его встречи со Степаном Астаховым. Он перенес этот фрагмент в начало следующей части и поместил его среди воспоминаний о событиях 1915 – 1916 годов. Автор не преуспел в одном: не успел выправить датировку в части 1-й («два года спустя») и не устранил приуроченность эпизода к Сталлюпененскому сражению.

Шолохов так никогда и не понял, какую ловушку смастерил ему Автор; в издании 1945 года он отважился лишь на одну поправку: заменил «ы» на «о», так что теперь читается: «под городом Столыпиним».

Беглец

Вторая подглавка 2-й главы 4-й части повествует о дальнейшей судьбе Ильи Бунчука, дезертировавшего в главе 1-й;

«Через три дня, после того, как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели – день лежал, зарывшись в стодоле в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели».

Вчитаемся во второй абзац – что нового мы узнали? Ну, например, что «в местечке находилась база корпуса», а потому «была опасность нарваться на патруль». Но указание на эту умозрительную опасность, призванное объяснить осторожность Бунчука, для читателя не обладает такой уж непреложной ценностью. Ему – читателю – достаточно было бы информации, полученной из первого абзаца:

«При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль».

Так наткнулся или не наткнулся, умозрение или реальность?
И то и другое, потому что – два варианта:

«При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, (...) не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели».

«В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели».

Нетрудно обнаружить, что второй абзац дублирует заключительную часть первого.

О цели такой авторской щедрости говорить, по-видимому, не приходится – один из вариантов черновой и отброшенный. Какой из двух? На этот вопрос нам дает ответ глава 28-я части 5-й (в первых изданиях глава 29-я). Она повествует о пленении восставшими казаками экспедиции Подтелкова. Жизни Бунчуку остается еще на две главы, и заготовки к описанию его идут в дело:

«Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатую револьверную рукоять. Вначале он подумал было бежать, но ему претили уход тайком, дезертирство...»

В этой фразе нашли свое место и «шинель» и «рубчатая рукоять» нагана (наган, как известно, пистолет револьверного типа). Не случайно всплывают у Бунчука мысли о бегстве и дезертирстве – они навеяны ему 2-й главой 4-й части.

Подчеркнем одно важное обстоятельство: отброшенные варианты Автором сохранялись с целью возможного использования в будущем. Отброшенные фрагменты не вымарывались, что и явилось причиной введения их М. Шолоховым в беловой текст.

1812

Очень редко, да и то, говоря лишь о персонажах, казачеству чуждых автор «Тихого Дона» позволяет романному слову растечься по генеалогическому древу. Таков, например, рассказ об отце сотника Листницкого:

«Старый, давно овдовевший генерал, жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетив во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его – четыре тысячи десятин – нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью» (ч. 2, гл. 14).

Таков облик текста в издании 1956 и последующих годов. По сравнению с изданиями 1928 – 1953 годов в нем произведены два изменения. Первое касается польских дел (ранее в генерала стреляли не «в предместье», а «в предместьях» Варшавы): второе – землевладения: до 1956 года земля в Саратовской губернии нарезалась прадеду генерала за участие не «в Отечественной войне 1812 года», но «в Отечественной 1812 года войне».

Сочетание «война 1812 года» получено простым изменением порядка слов и, действительно, не режет ни глаз, ни слух, чего не скажешь о «1812 года войне». Быть может, необычным последнее сочетание стало лишь в наши дни? Ничуть не бывало, сошлемся лишь на заглавия двух книг: М. Богданович «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Составлена по Высочайшему повелению» (тт. I – III. СПб., 1859 – 1860) и сборник «Генерал-квартирмейстер К. Ф. Толь в Отечественную войну 1812 года» (СПб., 1912). Так что, порядок слов издания 1956 года был правильным и в 1928, и в 1968 годах.

Правильным, но не единственно возможным. Приведем для примера две другие книжные публикации: Н. Дубровин «Отечественная война в письмах современников (1812 – 1815)» (СПб., 1882) и В. И. Гомулицкий (Гео) «Отечественная война. Работа по обнародованию документов» (Варшава, 1902). Итак, во второй половине XIX и в начале XX веков употреблялись два обозначения. Были ли они равноправны? Видимо, нет. Полная форма – Отечественная война 1812 года – была принадлежностью официальной публицистики (трехтомник М. Богдановича, например, был составлен «по Высочайшему повелению»). Массированное вторжение официального наименования в язык можно с уверенностью датировать 1912 годом – празднованием столетия Отечественной войны, когда прессу и книжный рынок захлестнул мощный поток юбилейной литературы.

Но в тексте «Тихого Дома» мы обнаруживаем не «Отечественную войну 1812 года», а какой-то странный гибрид двух форм «Отечественная 1812 года война»!

Единственным разумным объяснением этого казуса может быть лишь допущение, что в первоначальное написание:

«(...) земля его (...) нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне, находилась в Саратовской губернии»

– была внесена надстрочная правка:

1812 года
«(...) за участие в Отечественной войне, находилась (...)».

Шолохов, копируя рукопись, просто-напросто вставил слова «1812 года» на неподходящее место.

Но сделав такое допущение, мы обязаны ответить и на вопрос: чем была вызвана правка? Ведь до того, как началась другая Отечественная – Великая, 1941 – 1945 годов, автор, написавший «Отечественная война», мог быть уверен, что его поймут правильно. А вставка в текст была произведена заведомо раньше 1928 года!

Обратимся поэтому к другому времени и к другой войне. С 1914 по 1918 год на пространствах Европы и Передней Азии шла война, которую мы называем первой мировой, а современники именовали Великой, европейской, германской, империалистической. Существовал, однако, краткий период, когда со всеми этими наименованиями конкурировало другое: с июля 1914 по 1915 год в России войну официально называли Второй Отечественной... (см., например, коллажи из газетных заголовков в «Августе Четырнадцатого» А. И. Солженицына: «Думайте теперь же о Музее Второй Отечественной войны!» и др.).

Только в этот период и имело смысл уточнять, о какой Отечественной войне идет речь.

Из вышесказанного следуют два вывода:

1. Правка вносилась в текст, написанный до июля 1914 года.
2. В 1916 году наименование «Вторая Отечественная» полностью исчезает из языка. Следовательно, правка вносилась в текст не позднее 1916 года.

На основании этих двух выводов мы приходим к заключению:

К июлю 1914 года две части первой книги романа были в основном написаны. Не позднее 1916 года Автор приступил к переработке романа.

Русский дух

В ноябре 1916 года на побывку с фронта прибыл в хутор Татарский Митька Коршунов – «друзьяк» и шурин Григория Мелехова:

«Митька пробыл дома пять дней. (...) Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины» (ч. 4, гл. 6).

Какой странный эпитет – «незабываемый»... Кто не мог забыть этот запах? Митька? Но он-то уж точно к своему запаху привык. В курене Мелеховых Митьку встретили Дарья, Ильинична и Пантелей Прокофьевич. Однако про Пантелея Прокофьевича сказано, что он «сидел, не поднимая опущенной головы, будто не слышал разговора»; значит, и резиньянции по поводу запаха исходят не от него: Что же касается женщин, то они войны еще и не нюхали (до гражданской остается целый год). Странно и загадочно!

А вот Григорий и Петро Мелеховы, бросив два развалившихся фронта – германский и противобольшевистский, дождались прихода красных:

«И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла, – запахом далеких путин» (ч. 6, гл. 7).

Тут бы Петру и Григорию самое время вспомнить этот запах, а нет... Разобраться в ощущениях героев нам помогает другой фрагмент, описывающий вернувшегося из плена Степана Астахова, мужа Аксины:

«Наутро – Степан еще спал в горнице – пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней путины, каким надолго пропитывается дорожный человек» (ч. 6, гл. 7).

Займемся сравнительной одорологией – сопоставим характеристики запахов:

ч. 4, гл. 6
дух солдатчины
едкий
ч. 6, гл. 16
дух солдатчины
ядовито-пахучий спиртовой
запах людского пота
табака
дешевого мыла
ружейного масла
запах дальних путин
ч. 6, гл. 7
удушливо-крепкий табак
запах дальней путины.

За пределами сопоставления остались две невещественных характеристики: «незабываемость» в части 4-й и замечание о том, что «запахом дальней путины (...) надолго пропитывается дорожный человек» в 6-й части; при этом сам «запах дальних путин является неотъемлемой принадлежностью «духа солдатчины» (гл. 16 часть 6-я).

Разгадка «незабываемого» духа здесь и лежит: это тот запах, «каким надолго пропитывается солдат. И, значит, запах этот не «незабываемый», а неотвязный, неистребимый, неустранимый, неизбывный, н е и з б ы в а е м ы й !

Именно слово «неизбываемый» и не сумел прочесть в рукописи дура Шолохов:

«Митька пробыл дома пять дней. (...) Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и н е и з б ы в а е м ы й едкий дух солдатчины»

Да не упрекнут нас в крохоборстве: речь не идет об опечатках или ошибках чтения, речь вообще не идет об одном слове. Дело в принципе – принципе Авторской поэтики. А поэтика эта в значительной степени построена на столкновениях, на конфликтах, на неуживающихся друг с другом качествах. Этот единый принцип организует описания людей, животных, растений и запахов. Как, например, в данном случае:

жарко натопленная кухня – запах мороза;

Запах мороза Митька принес с улицы, запах солдатчины он носит с собой зимой, летом, всегда. Свежесть мороза обманчива, затхлость есть сущность – «дух».

По поводу мокрого снега

Эпопея корниловской армии, отступившей, чтобы сражаться и победить, уже современниками рассматривалась как великое деяние. И хотя гражданская война дала в дальнейшем новые примеры «ледяных походов» (отступление колчаковской Якутской армии, гибельный «отступ» в Персию Уральской казачьей армии), история запомнила первый – Корниловский. Трагедия армии уходящей на верную смерть, слишком эпична, чтобы мимо нее мог пройти хотя бы один, писавший о войне на Юге. Не прошел и автор «Тихого Дона», поместив в эту заведомо неказачью массу единственного из первостепенных персонажей, социально близкого отступавшим, – сотника Евгения Листницкого.

Итак, начало «Ледяного похода» – книга II, часть 5-я, глава 18-я;

«Накапливались сумерки. Морозило».

Все, как будто, верно: поход – «ледяной», значит, уместен и мороз. Но вслед за этим – продолжение:

«От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер».

«Влажный ветер» ни при какой погоде не может «морозить», а если «морозит» не ветер, то сам ветер не может оставаться влажным.

Дальше – больше:

«– Господин командир! – окликнул Неженцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку. (...) Прикажите первой роте прибавить шаг! Ведь так и замерзнуть немудрено. Мы п р о м о ч и л и ноги, а такой шаг на походе...»

«На взрыленной множестве ног дороге кое-где просачивались л у ж и . Идти было тяжело, с ы р о с т ь проникала в сапоги».

«– Россия всходит на Голгофу... Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать:

– Голгофа... с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути – снег, притом мокрый, плюс чертовский холодище».

Значит, все-таки холодно. Но холод – он бывает разный: бывает мороз, а бывает и пронизывающая сырость. Замерзнуть можно и тогда, когда кругом слякоть и лужи. Но если подморозит – луж нет, они затягиваются льдом. А мы что видим: «кое-где просачивались лужи», то есть типичная оттепель, да и ветер влажный. На морозе ноги мерзнут, но не промокают; при морозе снег бывает всякий: легкий, тяжелый, пушистый, хрустящий, но только не мокрый. А в тексте прямо сказано: «снег, притом мокрый!» В чем причина такой противоестественности описания?

За ответом обратимся к тексту первых изданий романа, но не к процитированному отрывку, а к другим «метеорологическим» фрагментам:

«М о р о с и л и з м о р о з н ы й д о ж д ь , ф о н а р и к и д а л и н а л у ж у м е р к л ы е д о р о ж к и с в e т a» (ч. 3, гл.22);

«В этот день и з м о р о з н ы й д о ж д ь с e я л с я с п о л д н я» (ч. 5, гл. 2);

«Ветер клубил за перелеском м о р о з н у ю п ы л ь» (ч. 4, гл. 21).

В первых двух случаях ситуация понятна – речь идет о морозящем дожде, и, следовательно, читать надо не «изморозный дождь», но «изморозный дождь». С третьим случаем положение иное, поскольку «морозной пыли» предшествует сообщение, что Мишка Кошевой и Алексея Бешняк «таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух».

Становится ясно, что в первых изданиях «Тихого Дона» и «изморозный» в значении «изморозный», и «морозный» в значении «морозный» одинаковым образом писались через «З».

Такая орфография противоречила правилам, достаточно сослаться на написание в «Толковом словаре» Вл. Даля. Тем не менее, «изморось» через «З» – не выдумка Шолохова.

Андрей Белый, роман «Серебряный голубь», Москва, издательство «Скорпион», 1910 год:

«(...) и з м о р о з ь д ы ш а л а н a н e г o с в o e й п ы л ь ю : в o к р у г и з м o p o з ь к р у т и л а с ь – в с e п р o c т p a н c t в o (...) казалось, плясало в с л e з л и в o м в e т p e (...) А о к p e c t – м p a з ь д a г p я з ь : п л я с a л д o ж д и к , н a л у ж a x л o п a л и с ь п y з ы p и (...)» (с. 73 – 74);

«А и з м o p o з ь x л e c т a л a – п y щ e д a п y щ e (...)» (с. 81).

Сергей Есенин – 1924 год:

«Я усталым таким еще не был...

В эту серию морозь и слизь...»

Итак, написание через «З» – установленный факт. Но А. Белый позволяет нам заглянуть еще дальше, в корни орфографической, пусть и распространенной, но ошибки:

«А о к p e c t – м p a з ь d a г p я з ь : п л я с a л д o ж д и k , n a л у ж a x л o п a л и с ь п y з ы p и (...)» (с. 81).

«(...) б e ш e н н e й д o ж д л и в a я з a м e т a л a с ь м p a з ь (...)» (с. 77).

Логично предположить, что основание ошибки – псевдоисторическое, а именно, построение ложного уравнения:

Мразь – мороз – изморозь

Мразь – морозь – изморозь

Затруднений с чтением «изморозь», как и з м o p o с ь , естественно, не возникало – на конце слова любой звонкий согласный оглушается. Затем вступали в действие навыки исторической орфографии: морозь – морозить вполне соответствовало паре мороз – морозить .

Истина, однако, в том, что церковно-славянского МРАЗЬ не существует. «Мразь» – слово сугубо русское, диалектное (костромское, тверское, ярославское), и значит вовсе не «мелкий дождь, ситничек», а «мерзость».

Переводя «Тихий Дон» на новую орфографию, Шолохов хорошо справился со словом «морозил», потому что рядом стоял «изморозный дождь». Еще проще было, когда глагол вовсе отсутствовал: «изморозный дождь» – не «град», понятное дело, а «и з м о р о с н ы й дождь». А вот с «Ледяным походом» затычка вышла...

А вы сами попробуйте чужой роман без ошибок переписать, чтобы получилось, как у Автора:

«Накапливались сумерки. М о р о с и л о . От устья Дона солоноватый влажный подпирал ветер».

Таинственный спутник

Среди множества вымышленных персонажей (начиная с главных героев) в романе действуют и исторические лица: Каледин, Корнилов, Краснов, Алексеев, Подтелков, Лукомский... В двух эпизодах появляется император Николай II: в первом он вручает георгиевскую медаль Кузьме Крючкову; во втором – последний раз в жизни покидает здание Ставки в Могилеве. Свидетелем этого последнего события становится Евгений Листницкий:

«Бледнея, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза огорожу и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосяземо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов ставки, военных, штатских... Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Обуглившееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косою черной полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенел бесшумный холостой ход отъезжающей машины и унижительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора» (ч. 4, гл. 10).

В этом фрагменте сразу бросаются в глаза пушкинские реминисценции: «унижительное безмолвие толпы» имеет своей причиной «Бориса Годунова» – «Народ безмолвствует», а сцена бега Листницкого, со звоном молчания в ушах и видением императорской руки, отсылает к «Медному Всаднику» –

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой –
Как будто грома грохотанье –
Тяжело-звонкое скаканье...
Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! Его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятажный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах...
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...

Заметим, что, в отличие от поднятой руки Петра I, рука Николая II падает. Отметим и еще один момент многозначительного сходства: Листницкого зовут Евгений! Это то, что касается литературной истории*.

Что же касается истории, то и эта сторона не вызывает нареканий: Ставка русского Верхов-

*Этим, конечно, не исчерпывается литературоведческий анализ. Так, например, необходимо отметить и используемый здесь прием оксюморона: «Бледнея...» – «с глубочайшей ... яркостью воскресил в памяти» (столкновение цветовых характеристик, одинаково приложимых к описанию человеческого лица и качества воспоминаний); «...штрих ... так неосяземо воздушен, что больно касаться взглядом...»; «...холостой ход отъезжающей машины» (столкновение неподвижности («холостой ход») и движения («отъезжающая машина»), ср. выражение – «машина на холостом ходу»); при этом звук, издаваемый машиной, назван «бесшумным», но сам этот «бесшумный ход» звенит в ушах. Прием оксюморона позволяет опознать еще одну реминисцентную линию: «унижительное безмолвие толпы» – это безмолвие восставших; таким образом, безмолвие толпы соотносимо не только с «Борисом Годуновым», но и с «мятежным шумом» «Медного Всадника». Продолжая анализ, мы отмечаем и то, что «небо крашено лазурью, киноварью и ржавой позолотой». Понятно, что в основе такого цветового ряда лежит не непосредственное восприятие, а иконопись. С учетом этого получает новый смысл и портрет императора: «По бледному лбу косою черной полукруг папахи» – перед нами лик Спасителя со смертным венчиком вокруг чела. _____

ного Главнокомандования находилась в Могилеве; неделю, следующую за отречением, Николай действительно провел в Ставке (прибыл в Могилев вечером 3 марта и отбыл навсегда 8 марта 1917 года); среди сопровождавших императора лиц находился отец обер-гофмейстерины Нарышкиной, министр двора и уделов, канцлер Империи граф Владимир Борисович Фредерикс, прозванный при дворе «Щелкунчиком» (Nussknacker) и переживший своего императора на 9 лет. Правда, вскоре после прибытия в Могилев Фредерикс исчез и был обнаружен (и арестован) лишь спустя несколько дней в Гомеле. Тем не менее в Ставке он был. Это факт.

Вообще Фредерикс в качестве спутника царя личность известная, а после «Заговора императрицы» П. Е. Щеголева – А. Н. Толстого даже популярная. Например, его видел во сне Остап Бендер: «Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора» («Золотой теленок», ч. 1, гл. 8).

Но все-таки одно недоумение остается – дело в том, что в первой (журнальной) публикации «Тихого Дона» императора сопровождал не Фредерикс, а Д и т е р и х с .

Опечатку видеть здесь вряд ли возможно. Во-первых, и наборщики, и машинистки практически всегда заменяют незнакомое слово более известным, а Фредерикс, несомненно, был более известен. Во-вторых, невозможно представить себе такое написание фамилии Фредерикс, чтобы ее можно было спутать с «Дитерихс»: строго говоря, совпадает в этих двух фамилиях лишь последовательность трех букв – «-ери-». Поэтому, в имени «Дитерихс» следует видеть ошибку Авторского текста. Именно ошибку, поскольку никакого Дитерихса в феврале-марте 1917 года в Ставке не было.

А был ли сам Дитерихс?

В советской литературе существует еще одно произведение, в котором упоминается этот загадочный человек – роман Дмитрия Нагишкина «Сердце Бонивура». В романе описываются трудные дни 1922 года на Дальнем Востоке и, в частности, последний правитель Белого Приморья. Нагишкин его по имени-отчеству так до конца романа и не называет, но сообщает о нем следующее (в главе 12-й «Рождение диктатора»):

«Генерал Дитерихс, бывший в том возрасте, который из вежливости называют преклонным, в революции потерял все».

Надо полагать, видимо, что речь идет о сенильном старце, тем более, на следующей же странице Нагишкин прямо пишет: «выживший из ума старый Дитерихс...».

Сколько же велико будет наше удивление, когда Гэй Ричардс в своей книге «Охота на царя» при имени Дитерихс сочтет нужным добавить: «в период 1-й мировой войны он одно время был самым молодым генералом русской армии...»* Действительно, ну и генералы были – выживший из ума старик – самый молодой! Ничего нельзя понять...

Кто же он был на самом деле, этот молодой старик?

Генерал Михаил Константинович Дитерихс родился в 1874 году, так что Нагишкин мог позволить себе не бравировать чрезмерной вежливостью – в 1922 году генералу Дитерихсу не было и 50. Был он молод и в годы первой мировой – к началу с войны ему исполнилось 40. А. А. Брусилов, приняв командование Юго-Западным фронтом, характеризует его как генерала «очень способного и отлично знающего свое дело». Был он заметной фигурой и в гражданскую войну: в 1918 принимает участие в чехословацком выступлении во Владивостоке, затем получает назначение начальником штаба ген. Я. Сырового; после ухода генерала Р. Гайды назначается командующим Сибирской армией, а затем, после отставки Лебедева, становится главнокомандующим фронтом и начальником штаба Верховного Правителя. Впрочем, вскоре на Дитерихса возлагают ответственность за неудачи на фронте, отрешают от должности и назначают на его место ген. Н. П. Сахарова. Дитерихсу же поручают возглавить следственную комиссию по делу об убийстве царской семьи. Вместе с комиссией он отступает из Сибири, добирается до Харбина, оттуда едет во Владивосток, где публикует двухтомное собрание материалов «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале» (Владивосток, типография Военной академии, 1922). Во Владивостоке же он избирается (после падения правительства братьев Меркуловых – так называемого «черного буфера») единоличным Правителем Приморья и Воеводой Земской Рати. Он объявляет «крестовый поход» на Москву за восстановление на престоле «законного хозяина Земли Русской, помазанника Божия из Дома Романовых», но 25 октября 1922 года на борту японского миноносца покидает Владивосток. Из Японии он направляется в Китай, где становится во главе Восточного отделения Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). В 1937 году

*Richards G., The Hunt for the Gzar, NY, A Dell Book, 1971.

генерал Дитерихс скончался*.

Обратимся, однако, к интересующим нас временам, к 1917 году. Так вот, ни в феврале, ни в марте Дитерихса в Могилеве не было, не было его и в России вообще, поскольку в это время он командовал дивизией, отправленной на помощь союзникам и сражавшейся на Салоникском фронте. В Россию же М. К. Дитерихс вернулся лишь в июне 1917 года. И вот тут-то обнаруживается самое замечательное: вернувшегося в Россию генерала Дитерихса назначают генерал-квартирмейстером Ставки в Могилеве. Должность эту он получает, видимо, по представлению А. Ф. Керенского**, после похода генерала Крымова на Петроград («Корниловский мятеж»).

Попытаемся разобраться. Весной 1917 года Дитерихса в Ставке не было. Следовательно, ни в каких исторических источниках, описывающих низвержение самодержавия, мы имени Дитерихса не найдем. Перед нами несомненная ошибка, но какого рода? Это не ошибка невежды, не умеющего разобраться в разногласии архивных и мемуарных свидетельств: не могло попасть ни в архивы, ни в мемуары имя человека, не имевшего никакой связи с событиями.

Но все станет на свои места, если допустить, что перед нами ошибка человека, бывшего не очевидцем, но современником событий. Если допустить, что Автор «Тихого Дона» ознакомился с деятельностью Ставки в краткий промежуток времени между отставкой Корнилова и убийством Духонина (5 сентября – 20 ноября ст. ст.), то описывая пребывание императора в Ставке и не имея возможности опереться на мемуары (еще ненаписанные!), он легко мог ошибиться, считая, что нынешний генерал-квартирмейстер Ставки остался от старого режима. Заслуживает внимания еще одна характерная неточность: император посетил Ставку в марте (3 – 8 ст. ст.), а Евгений Листницкий вспоминает «февральский богатый красками исход дня» (ссылка на разницу старого и нового стилей только усугубляет дело – 3 и 8 марта старого стиля соответствует 16 и 21 нового).

Близнец в тучах

В 1956 году Б. Л. Пастернак был, как и в предыдущие дни десятилетия, озабочен проблемой «первого поэта»:

«Были две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я лично письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею» («Люди и положения» – в кн.: Б. Пастернак «Воздушные пути (Проза различных лет)». М., 1982, с. 458).

Слова «Я люблю свою жизнь», в свете всем известных обстоятельств смерти Маяковского, усиливают, конечно, юмористическое звучание приведенного фрагмента. Но перед этим Пастернак рассуждает более чем серьезно и вписывает гибель Маяковского в общую картину гибели литературы.

«В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова (...)» (Указ. соч., с. 457).

Обратим внимание на положение «Тихого Дона» в этой фразе: вокруг него имена – Маяковский, Есенин, Пильняк, Бабель, Федин, Вс. Иванов, а «Тихий Дон» стоит безымянный. С одной стороны: «начало деятельности Пильняка, Бабеля, Федина и Вс. Иванова, а с другой – «начало «Тихого Дона», лишь романа, а не деятельности А. М. Шолохова (на возражение, что «Донские рассказы» не заслуживали высокой оценки и потому не упомянуты, можно ответить, что началом деятельности Пильняка Пастернак тоже считал не рассказы 1917 года в «Ниве», а началом Бабеля – не сотрудничество в горьковской «Летописи» 1916 года, но их книги: «Голый год» и «Конармию»).

Еще один штрих: начало романа «Тихий Дон» (книги 1-я и 2-я) вышло в 1928 году, то есть в последние годы жизни Маяковского», как раз тогда, «когда» (...) прекратилась литература». Тем не менее Пастернак ставит начало «Тихого Дона» в один ряд с началом деятельности Пильняка, Бабеля, Федина, Вс. Иванова, то есть относит роман к самому началу 20-х, в любом случае ранее 1925 года («когда повесился Есенин»). Мало того, все перечисленные писатели относятся к одному поколению, они, практически, сверстники (1892 – Федин,

*Брусиллов, А. А. Мои воспоминания. (Изд. 5-е) М., 1963, с. 205; Грачев, Г. Якутский поход ген. Пепеляева. – «Сибирский Архив», (Прага), Изд. Об-ва Сибиряков в ЧССР, 1929, т. 1, с. 25 – 26;

**Катков, Г. М. Дело Корнилова (пер. с англ. Н. Г. Росса). Париж 1893 – Маяковский, 1894 – Пильняк, Бабель, 1895 – Есенин, Вс. Иванов). Шолохов с его 1905 годом рождения до самых молодых недотягивает десяти лет!

Короче говоря, Пастернак отказывает «Тихому Дону» как в праве быть написанным во второй половине 20-х, так и в праве именоваться произведением Шолохова.

Основанием такого отвода служит поэтика романа, а именно, характерная для него ориентация на поэзию. К сожалению, Пастернак не счел нужным уточнить, какую именно поэзию он имел в виду.

Попытаемся ответить на этот вопрос. Откроем «начало романа» – книгу 2-ю, часть 4-ю, главу 6-ю.:

«В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижимое облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи».

Нужно приложить большие усилия, чтобы не вспомнить:

Где, как обугленные груши.
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Это – «Февраль. Достать чернил и плакать!...». Впервые стихи были опубликованы в сборнике «Лирика» (М., 1913, с. 42) с посвящением Константину Локсу, а затем вошли в книгу «Близнец в тучах» (М., Книгоиздательство «Лирика», 1914). Примечательно, что в первой публикации строфа несколько различалась от приведенной выше:

Где, как обугленные груши.
На ветках тысячи грачей...

Ср.: «за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи».

Стихи Пастернака, помещенные в сборнике «Лирика», возможно проливают свет и на «седоватые тополя»:

И, как в неслышанную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу.

Эти стихи – «Как бронзовой золой жаровень...» – отделены от «февраля...» всего двумя страницами (сб. «Лирика», с. 45).

Мы никогда не узнаем, вспомнил ли Пастернак свои ранние стихи, читая «Тихий Дон». Гораздо важнее другое – Пастернак узнал в авторе «Тихого Дона» своего сверстника: писателя 10-х годов.

Записки врача

В августе 1914 года сотник Евгений Листницкий подал рапорт о переводе в действующую армию и получил назначение в один из казачьих полков. Сойдя с поезда на каком-то безымянном полустанке, Листницкий присоединился к походному лазарету, который и доставил его к месту расположения штаба полка. Врач лазарета – «большой багровый доктор» – «очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и [...] изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником [...].

- Чем объяснить эту несусразицу? – из вежливости поинтересовался сотник.
- Чем? [...] Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с. [...] Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не помнели. Шапками закидаем, так что уж там... – и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая копнастой головой» (кн. 1, ч. 3, гл. 14).

Сознаемся сразу – ошибка здесь обнаружена не нами, а С. Н. Семановым:

«Известное произведение Вересаева «Записки врача» опубликовано было в 1901 году и никакого отношения к военным вопросам не имело. Его позднейшие книги – «Рассказы о войне (1906) и «На войне» (1906 – 1907) как раз были посвящены критической оценке русско-японской войны, где автор побывал в качестве военного врача. Неточность в названии популярного тогда произведения очевидна»*.

Ладно, неточность... А что было точным? Вот Семанов называет два вересаевских произведения. Какое из них по праву могло бы занять место «Записок врача»? Или оба сразу?

По всей видимости, нам придется отвергнуть кандидатуру «Рассказов о войне». Вышедшие в более или менее полном виде через 8 лет после русско-японской войны – в 1913 году (4-й том полного собрания сочинений В. Вересаева), они, как можно судить по прессе, при появлении своем общественного ажиотажа не вызвали.

Другое дело – очерки «На войне». Публиковавшиеся в сборниках товарищества «Знание» (№17 – 20, 1907 – 1908), они уже в феврале 1908 года вышли отдельным изданием и возбудили живейший интерес. В. Линд («Русская мысль», 1908, № 10) высоко оценил «правдивые воспоминания» Вересаева, рецензент «Русских ведомостей» (1908, 22 июля) особо отметил наполняющий очерки «внутренний ужас, который, увы, не исчез с войной». Безусловное восхищение книгой выразил критик журнала «Современный мир» Н. И. Иорданский, писавший, что Вересаев «сумел сделать из истории скитаний полевого госпиталя [...] историю великого национального страдания» (1908, № 8).

Сравним с такой характеристикой очерков яростные жалобы доктора из «Тихого Дона»:

«Ведь вы подумайте, сотник: протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь (доктор с злым сладострастием повторил «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая). [...] Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здорового ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с».

Сказанного доктором вполне достаточно, чтобы на место «Записок врача» с уверенностью поставить книгу «На войне».

И вот тут наступает самое интересное. Дело в том, что книга Вересаева не носила название «На войне», точнее – не только «На войне». Полное наименование книги было таким: В. Вересаев «На войне. Записки».

Из чего следует, что два интеллигентных собеседника, встретившихся в августе 1914-го на безымянном полустанке, не ошибались, называя «Записками» известную, неоднократно переиздававшуюся разоблачительную книгу о состоянии русской военной медицины. Они друг друга прекрасно понимали:

«Помните Вересаева «Записки»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с. [...] Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там...»

Расширением названия мы обязаны, скорее всего, придирчивому редактору. Для него Вересаев и «Записки врача» были синонимами**, а любые «Записки» рядом с именем Вересаева – только «Записками врача».

Шолохов, понятно, поправку принял – ему-то было все едино.

О степенях родства

В главе 2-й части 3-й (книга 1) воинская служба приводит казаков в Польшу:

«Искромсанная лезвиями чахлах лесков, лежала чужая, польская. [...] Имение Радзивиллово находилось в четырех верстах от полустанка. [...]

– Это что за хутор? – спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.

– Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область Войска Донского.

– А что это, дяденька?

– Какой я тебе дяденька? Ать, нашелся племяш! Это, братец ты мой, – имение княгини Урусовой».

*Семанов С. Н. В мире «Тихого Дона». М., «Современник», 1989, с. 147.

**Сам Вересаев на это жаловался: «Не люблю я этой книги. Она написана вяло, невразумительно, плаксиво и в конце концов просто плохо. [...] Но как раз «Записки врача» дали мне такую славу, [...] которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные. Знал я несколько таких. [...] В вагоне скажет случайному спутнику свою фамилию, а тот: – Чем изволите заниматься? [...] Вот этого со мною не бывало. Назовешь свою фамилию мало-мальски

грамотному человеку, радостно-изумленное лицо: – Автор «Записок врача»?!» («Воспоминания» – в кн.: Вересаев В. В. Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 5. М., 1961, с. 437).

Таков облик текста в послевоенных изданиях. В публикациях более ранних, кроме написания «Радзивиллово» с одним «л», а в речи персонажей «што» вместо «что», текст обнаруживает одно отличие – в предпоследней фразе на месте восклицания «Ать» стоит «Ашь».

Слово «ашь» ни в донских, ни в южновеликорусских говорах не отмечено, но нет в них и слова «ать» («ать» в известном сочетании «Ать-два!» представляет собой результат изменения слова «Раз» в аллегровой речи). Впрочем, в говорах Южной России можно найти нечто близкое – междометие «ат», выражающее «возражение, отрицание, пренебрежение, укоризну, недовольство, досаду и т. п. : Ат! Много мы таких видели! (курск.); Ат! Куды там ему ехать! (воронеж.)»*.

Чем же была вызвана замена несуществующего «ашь» не более реальным «ать»?

Ответ обнаруживается в самом романе – в главе 14-й части 2-й (книга 1):

«Черт паршивый! А т ь сукин сын! – багровея, орал Сашка ломким голосом. [...] Умру – и то приползу по цибарке кринишной дать, а он, а т ь , придумал!... Тоже!..»

Итак, отсутствующее в диалектных словарях «ать» в романе все-таки имеется. Откуда оно в роман проникло – вопрос другой, на который мы еще попытаемся ответить. Но, пока что, разберемся с «ашь».

Произносит это слово «бравый лупоглазый вахмистр Каргин». Вахмистра мы наблюдаем в разных ситуациях. Вот, например, в 5-й главе части 3-й ему встречается ограбленный казаком еврей:

«Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пикю. – Беги, жидюга, заколю!..

Еврей испуганно зевнул ртом и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. [...] еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.

– За что?.. – рыдающим голосом крикнул он.

Вахмистр, маля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунычьи глаза, ответил отъезжая.

– Не ходи босой, дурак!»

Понять этот диалог позволяет знание прибауток. Собирателем городского фольклора Евгений Иванов сохранил для нас такой разговор старомосковских книжников: «Загнал Ровинского-го? Кому? Француз? Десяти листов не было? Так и надо! Не ходи босиком, а то по пяткам»**.

Иными словами, вахмистр приказал еврею не быть растяпой. Следуя методике школьных сочинений, мы, на основании данного отрывка, можем охарактеризовать вахмистра Каргина как носителя образной народной речи. Точно так же ведет он себя и в разговоре с молодым казаком, называя того «стригуном митякинским». Казачок – родом из станицы Митякинской, «стригун» – донское название жеребенка, а в шутливой речи – молодежи. Лошадь, как эталон и исходный пункт при сравнении, – понятная особенность у такого кавалерийского племени, каковым были донские казаки.

Но никакого знания коннозаводства не требуется, чтобы сделать выбор между «ать» и «ашь», поскольку выбор этот диктуется самим текстом:

«Какой я тебе дяденька? А ш ь нашелся п л е м я ш !»

На неправильное (не по уставу) обращение рядового казака к старшему по званию вахмистр отвечает прибауткой, в которой слово «ишь» преобразовано в «ашь» для создания рифмы:

«Ашь» – «племяш»!

Шолохову данная прибаутка была незнакома, в силу чего он и решил, что ошибся: спутал в Авторской рукописи буквы «ш» и «т». Такая ошибка чтения вполне вероятна, если в помете Автора эти буквы были сходны или неразличимы по начертанию.

Обратимся ко второму случаю употребления «ать» в романе, который теперь – после анализа колебаний «ашь»/«ать» – оказывается единственным.

Как уже говорилось, южнорусским диалектам известно лишь междометие «ат!», которого мы в «Тихом Доне» как раз не обнаруживаем. С другой стороны, мы находим в романе любопытную замену форм, оканчивающихся на мягкий знак, формами без окончания: в главе 5-й части 2-й (книга 1) фраза «– Дай ему, Яшь!» была еще в 30-е годы исправлена, и с тех пор читается: «– Дай ему, Яш!».

Исправление, несомненно, обоснованное, поскольку в русском языке так называемая

*«Словарь русских народных говоров», вып. 1. М. – Л., «Наука», 1965, с. 288.

** Иванов Е. П. Меткое московское слово. М., «Моск. Рабочий», 1985, с. 94.

«звательная форма» имен собственных предстает собой чистую основу. Мягкость основы передается на письме мягким знаком, твердость – отсутствием окончания:

Волод-я – Володь!
Кол-я – Коль! Саш-а – Саш!
Сон-я – Сонь! Шур-а – Шур!
Ван-я – Вань! Гриш-а – Гриш!
Яш-а – Яш!

Спутать мягкую и твердую форму на письме, то есть прочесть мягкий знак там, где никакого знака нет, нелегко. Но так было не всегда.

До орфографической реформы 1917 года (циркуляр Министерства народного просвещения от 17 мая) мягкая и твердая основы различались на письме соответственно мягким и твердым знаками. А твердый знак перепутать с мягким было легче легкого. Автор написал «Яшь!», а Шолохов прочел «Яшь!».

Так что, видимо, и «ать» никакого в романе нет, а есть кое-как прочитанное «ать»:

«Черть паршивый! Ать сукинъ сынъ! ... а онъ, ать, придумал!... Тоже!..»

Идейное содержание

Возражая против принадлежности «Тихого Дона» перу Шолохова, приводят часто такой аргумент – комсомолец (а в дальнейшем – коммунист) не мог написать роман, антисоветский и белогвардейский по духу!

В таком заявлении логического противоречия нет, но есть одна трудность: в контакт с духами (хотя бы и романа) вступить чрезвычайно сложно.

Например, фраза: «Вверх ногами летели советы» в описании казачьего восстания как будто ярко характеризует авторское отношение к событиям. Еще больше отношения в таком высказывании: «Смыкалась и захлестывала горло области большевистская петля...» Ну, а что если автор романа передал здесь не свои собственные ощущения и привязанности, а взгляд и позицию персонажей? Встал на их точку зрения?

Или, скажем, такой эпизод: казак Чикамасов в августе 1917 года рассуждает, что Ленин – никакой не русский, уроженец Симбирской губернии, а напротив – коренной донской казак, еще точнее «родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской ... служил батареем». Антисоветскому читателю и критику сразу бросятся в глаза ходульность и искусственность такого эпизода, что, в свою очередь, ясно указывает на вмешательство Шолохова.

Однако вопрос о том, кто здесь руку приложил, не решается так просто. Вот рассказ о встрече Ленина с группой казаков в ноябре 1917 года в Петрограде: «Правда ли, что вы по происхождению донской казак?» – спросил один из казаков. Ленин ответил отрицательно и спокойно добавил: «Я симбирский дворянин».

Такому рассказу, конечно, веры нет. Мало ли какие байки-воспоминания о «самом человеческом» можно прочесть в Стране Советов... Но тут – такая заковыка: казаки, пришедшие к Ильичу, были не какими-то там ходоками, а делегатами насквозь антибольшевистского «Союза Казачьих Войск»; рассказ же об этой встрече мы взяли из ростовского белоказачьего еженедельника «Донская волна» (1918, № 11, с. 7). Следовательно, легенда эта не выдумана Шолоховым – подлинный Автор вполне мог ее знать и включить в роман. В таком случае легенда, конечно, служит уже не доказательству всенародной любви к Ильичу, а демонстрирует меру казачьего непонимания происходящего.

Так что опираться на прямые высказывания для суждений об Авторе не всегда стоит. Что же делать? Искать, искать следы авторского отношения на уровнях, недоступных никакой цензуре, – уровнях, недоступных никакой цензуре, – уровнях поэтики и замысла.

Казнь

Что мешает четкому определению идеологических пристрастий Автора романа «Тихий Дон»? Два обстоятельства. Одно – внешнее: текст романа, и без того основательно испорченный, сильнее всего искажался в идеологически чувствительных местах. Доказательством этому служит проводившаяся от издания к изданию безжалостная правка политических аспектов романа. Но если печатный текст, распространявшийся в сотнях тысяч экземпляров и, следовательно, доступный для сравнения, мог подвергаться такой вивисекции, легко представить масштабы двойной (шолоховской и редакционной) цензуры, предшествовавшей выходу романа в свет!

Второе обстоятельство – внутреннее: Автор описывает людей, а не персонажей политического театра масок. Примером этому являются описания смертей, где Автор равно человечен и безутешен вне зависимости от того, кто из героев расстается с жизнью – есаул Калмыков или его убийца Бунчук, полковник Чернецов и его убийца Подтелков...

Такого уровня объективности («встать над красными и белыми») мечтали достичь многие писатели (Михаил Булгаков, например), но и Автору «Тихого Дона» он дался нелегко.

Остановимся на одной из смертей – двойной смерти красных казаков Федора Подтелкова и Михаила Кривошлыкова (кн. 2, ч. 5, гл. 30):

«[...] один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело его, вихнувшись, рванулось вниз, а ноги достигли земли. Он приподнялся на цыпочки, упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног [...] Изо рта его обильно пошла слюна. [...] Кривошлыкову не дали закончить речь: табурет вылетел из-под ног [...] Сухой мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягивался судорогой... Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, [...] и опять кончики пальцев достали земли.»

Детали данного описания мы отыскиваем в литературе 10-х годов:

«Когда Петр перекинул веревку через толстую ветвь раскидистого клена, [...] и быстро повернувшись к нему правым плечом, р в а н у л е е в н и з , собака, вздернутая на дыбы, с у д о р о ж н о скорчив передние лапы, сделала усилие удержаться на взрытой под кленом з е м л е , но повисла, едва к а с а я с ь е е . Ч е р н о - л и л о в ы й я з ы к е е в ы с у н у л с я , обнажились в гримасе коралловые десны, дневной свет, отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.

– Теперь молчи, не вякай, – сказал Петр, любивший шутить сумрачно».

Процитированный отрывок взят из рассказа Ивана Бунина «Последний день», опубликованного впервые в петербургской газете «Речь» (1913, № 47, 17 февраля), а затем включенного в авторский сборник «Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912 – 1913 гг.» (М., Кн-во писателей, 1913; по «Книжной летописи» проходит 9 – 16 декабря). Сборнику был предпослан эпиграф: «Не прошла еще древняя Русь...» (И. Аксаков).

В. Кранихфельд в рецензии на сборник немедленно отметил, что Бунин «цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве...» («Современный мир», 1913, № 11). Иная точка зрения была высказана А. Дерманом («Русское богатство», 1914, № 2), обратившим специальное внимание на рассказ «Последний день»:

«Да, все это правда: и коралловые десны, и черно-лиловый язык, и глаза виноградного цвета, но за этими частными правдами чувствуется какая-то большая общая неправда, которой невольно и законно сопротивляешься: «неправда» Бунина – тот общий фон, на котором он пишет свои частно-правдивые (не всегда, впрочем) детали, а фон этот какое-то рассудочное и холодное отношение к изображаемому миру».

Слова «деталь» и «фон» достаточно ясно указывают на то, что критик противопоставляет Бунину как образец правильного подхода к делу – да впрочем, Дерман этого и не скрывает – Чехова, который раньше Бунина открыл «зверства и жестокости» русской деревни, однако у Чехова была «правда в фоне», которой у Бунина нет.

Любопытно, что Автор «Тихого Дона» словно полемизирует с «Русским богатством» – у Бунина берутся именно детали. Однако у Автора романа мог быть и другой мотив обратиться к рассказу «Последний день» – сразу за описанием казни борзых у Бунина следует рассказ о повешении людей:

«– Собак что, и людей, какие позамечательнее, и то многих казнят, – сказал Петр. [...] Мне солдаты рассказывали. Сделают с ночи висельницу, а на рассвете приведут этого самого злодея, палач мешок ему на голову наденет и подымет на резиновом канате. Доктор подойдет, глянет и сейчас говорит, удавился или нет... Тут же под висельницей и могила. [...]

– А за что же их казнят?

– Понятно, не за хорошее. За всякие разноеверия, за начальство, за разбой. Не бунянь, не воруй...»

Можно предположить, что импульсом обращения к рассказу Бунина был импульс символический: «Собаке – собачья смерть!», иными словами, Подтелков и Кривошлыков, с точки зрения Автора, – красные собаки. Авторское отношение определяет и точку зрения персонажа – см. слова Григория Мелехова, обращенные к Подтелкову:

«– [...] Теперича тебе отыгривается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить!»

Мелехов, в данном эпизоде, относится к Подтелкову, как к живодеу, попавшему в руки живодеу.

Но круг актуальных литературных реминисценций не исчерпывается Буниным:

«Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть: потрескивая у перекладыны, она тихо качалась, и, повинувшись ее ритмическому ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез».

Ср.:

«[...] Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер повора-
рачил его то к городу лицом, то к пустыне – точно и городу и пустыне хотел он показать
Иуду из Кариота, предателя – одинокого в жестокой участи своей».

Цитата эта взята, понятное дело, из повести Л. Андреева «Иуда Искарот и Другие» (сб. «Зна-
ние», XVI. СПб., 1907). Как и в предыдущем случае, Авторскую оценку Подтелкова как Иуды
подтверждают персонажи:

(гл. 28) – Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и
уничтожать казачество? [...]

– Расстрелять! Всех! [...] Нету им, христопродавцам, милости! Жиды какие из них
есть – убить!... Убить!... Распят их!»

(гл. 30) Григорий Мелехов Подтелкову: «Отходился ты, председатель московского совнаркома! Ты, по-
ганка, казаков жидам продал!»

Враг народа

Осип Давыдович Штокман, слесарь, член РСДРП (б), появившийся впервые во 2-й части ро-
мана (книга 1) и погибший от рук солдат мятежного Сердобского полка в части 6-й (книга 3),
привлек внимание Д*, давшего в «Стремени «Тихого Дона» глубокую и верную характеристику
этого образа.

Ключевая для образа сцена – поездка Штокмана на повозке Федота Бодовскова (в дальнейшем
приговоренного Штокманом к расстрелу) из станицы Вешенской в хутор Татарский:

«[...] на гребне, в коричневом бурьянном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий наметанно-зоркий
глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дудаков (дроф. – Б. С.).

– Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вон они ходют... – вздохнул, указывая пальцем.

– Не вижу, – сознался пассажир, подслеповато моргая» (кн. 1, ч. 2, гл. 4).

Можно согласиться с Д*, писавшим, что «так же подслеповато, как на дудаков, глядит Шток-
ман и на Федота, а затем [...] с такой же близорукостью [...] на весь казачий быт-обиход» (с.44).
Замечание Д*, «что в глазах автора лица, подобные Штокману, не являются создателями ново-
го, но лишь тупыми фанатиками затверженных идей», можно подкрепить цитатой из главы 16-й
(ч. 2): «Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капита-
листических государств за рынки и колонии», точнее более ранним и менее шолоховским вари-
антом этого фрагмента: «[...] в твердых, словно заученных фразах [...]».

Такая трактовка образа находит, по мнению Д*, подтверждение в самом имени персонажа:
«Жестокость смысловой сути в самой фамилии: Stock (палка, немецк.)» (с. 46). Немецкая эти-
мология кажется здесь тем более оправданной ввиду того, что в первых изданиях романа Шток-
ман происходил не из латышей, а из немцев: «Дед из немцев происходил».

Тем не менее, выбор такого имени автором романа, если не допускать только, что это был
Шолохов с его звериным невежеством, с несомненностью указывает на один-единственный ис-
точник – пьесу Генриха Ибсена «Доктор Штокман (Враг народа)».

Объяснение тому факту, что большевик Штокман унаследовал имя норвежского врача, мы
находим в специфической судьбе пьесы Ибсена в России. Дело в том, что «в то тревожное поли-
тическое время – до первой революции – было сильно в обществе чувство протеста». Публика
«жадно искала героя, бесстрашно говорящего правду, воспрещенную властями и цензурой».
Первым таким героем и стал доктор Штокман в исполнении К. С. Станиславского, которому
принадлежит и процитированное выше высказывание.

Успех сопутствовал «Доктору Штокману» в Москве, но на гастролях в Петербурге в 1901 году Московский Художественный театр показал спектакль в обстановке уже вовсе необычной. В начале года у Казанского собора состоялась студенческая демонстрация, разогнанная специально вызванными казаками. На таком фоне и проходил спектакль. «Ввиду печальных событий дня, – вспоминал Станиславский, – театральные залы были до крайности возбуждены и ловили малейший намек на свободу, откликался на всякое слово протеста Штокмана. То и дело, притом в самых неожиданных местах, среди действия раздавались взрывы тенденциозных рукоплесканий. Это был политический спектакль», – заключает Станиславский, хотя «мы, исполнители пьесы и ролей, стоя на сцене, не думали о политике».

Станиславский особо отмечает, что ничего революционного в пьесе не было, напротив: «герой презирует сплоченное большинство и восхваляет индивидуальность отдельных людей, которым он хотел бы передать управление жизнью. Но Штокман протестует, Штокман смело говорит правду, – и этого было достаточно, чтобы сделать из него политического героя».

Вывод Станиславского: «Нужна была революционная пьеса, – и «Штокмана» превратили в таковую»*.

Таким образом, выбор фамилии Штокман для наименования героя романа свидетельствует, по-видимому, о том, что Автор «Тихого Дона» рассматривает свой персонаж как фигуру отрицательную, антидемократическую, иными словами – как врага народа.

Тогда недавний символ революции превращается в способ дискредитации революционеров. Одного этого достаточно, чтобы причислить первую книгу «Тихого Дона» к «литературе реакции», то есть увидеть в романе черты пореволюционной (после революции 1905 – 1907 гг.) переоценки ценностей.

Существует, кстати, произведение, в котором пьеса «Доктор Штокман» прямо связана с ездой в запряженной лошадей повозке – фельетон Леонида Андреева «Диссонанс». Фельетон этот был опубликован в 1900 году. Подписан тогдашним псевдонимом Л. Андреева (Джеймс Линч), и являлся откликом на премьеру «Доктора Штокмана» в Московском Художественно-общедоступном театре 24 октября 1900 года.

Герой фельетона радостен и возбужден, так как едет на премьеру в Художественный театр, и ему «предстоит высшее наслаждение». Первое ощущение «диссонанса» возникает у героя, когда оказывается, что извозчик «ничего не знал о театре, о котором говорит вся Москва». Чувство диссонанса еще более усиливается оттого, что извозчик, работавший всю ночь, чуть не попадает под конку. Впрочем, «дальше, со входом в театр, началась сплошная гармония». Интеллигентная толпа с восторгом встречает слова Штокмана: «Право только меньшинство, потому что только меньшинство умно и благородно. Вы лжете, что грубая масса, чернь имеет такое же право осуждать и санкционировать, советовать и управлять, как немногие представители интеллигентного меньшинства» (4-й акт). Интеллигентного героя, «отдавшего дань возвышенным чувствам и облагородившего свою душу созерцанием чужих добродетелей», из театра снова везет домой извозчик. Герой пытается выяснить его отношение к искусству, к истине, справедливости, но в ответ слышит лишь недоуменное извозчиково: «Как?». Герой не успокаивается: «Ты знаешь, что сейчас в Каретном ряду такие вот, как ты, погубили самого лучшего человека, какого я видел когда-либо?». «Никак нет, это не мы, – протестует извозчик, – намерен я вот тоже одного господина с Зацепы вез. Говорил ничего, вот как и вы, а потом как меня по шее – вдаарит. А мы что, мы никого не трогаем».

Мораль фельетона: «И мы каждый исполняли свое назначение. Он меня вез, а я о нем думал. О нем и о таких, как он, зверях и дворнягах, об их тупости и звериных чувствах, о той пропасти, которая отделяет их от нас, возвышенно-одиноких в нашем гордом стремлении к истине и свободе. И на один миг – странное то было чувство – во мне вспыхнула ненависть к доктору Штокману и захотелось из своего свободного серого одиночества уйти и раствориться в этой серой тупой массе полулюдей. Возможное дело, что через некоторое время я влез бы на козлы, но, по счастью, мы приехали».

Допрос во время езды учиняет Федоту Бодовскому и Штокман из «Тихого Дона»:

«Как у вас житье? – спросил Штокман, подпрыгивая и вихляясь на сиденье.

- Живем, хлеб жуем.
- А казаки, что же, вообще, довольны жизнью?
- Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.
- Так, так... – соглашался слесарь, и, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы.
- Сытно живут, говоришь?
- Живут справно.
- Служба, наверное, обременяет? А?

– Служба-то?.. Привычные мы, только и поживешь, как на действительной».

*Станиславский К. С. Собр. соч., т. 1, М., 1954, с. 249.

Как извозчик не понимает Джемса Линча, так и Федот не понимает и хитрит со Штокманом, и, действительно, есть основания говорить об идейной и фабульной близости двух повествований, близости, прослеживаемой даже в деталях:

(«Диссонанс»): «Штокман только еще вошел, [...] а вы [...] уже знали, что за дивно-светлая, наивно честная и глубоко любящая душа сидит в длинном теле этого ученого, с его добродушной к о н ф у з л и в о й б л и з о р у к о с т ь ю ...»

(«Тихий Дон»): «– Не вижу, – сознался пассажир, под слепо моргая».

И все-таки возникает вопрос: почему Автор «Тихого Дона» обратился к газетному фельетону 1900 года? Неужели впечатление сохранялось столько лет? Конечно, все могло быть, однако для отыскания фельетона не требовалось ни слишком крепкой памяти, ни газетных подшивок – в 1913 году фельетон «Диссонанс» был перепечатан в 6-м томе Полного собрания сочинений Л. Андреева (СПб., Т-во А. Ф. Маркс, с. 329 – 333). А писательский престиж Андреева стоял в те годы достаточно высоко, чтобы читать все, подписанное этим именем и включенное в собрание сочинений.

Морфология сказки

Тайна фанерных чемоданов

В начале нашего повествования мы упомянули о человеке, который еще в годы гражданской войны держал в руках и читал рукопись «Тихого Дона». Его воспоминания донесла до нас Алла Гербурт-Йогансен, вдова украинского поэта Майкла Йогансена (настоящее имя – Михаил Кравчук). Вот что она рассказала в своем письме Шведской Королевской академии от 24 ноября 1965 года*:

«С 1930 до 1937 года я жила в доме писателей «Слово» в Харькове. Через своего мужа М. Йогансена я была знакома со многими литераторами. Как-то утром [пропуск в машинописи. – Б.-С.] г[ода] Днепро-вский, тяжело больной туберкулезом, позвал к себе своих товарищей. «Иди и ты, – сказал мне Йогансен, – Днепро-вский хочет рассказать что-то очень важное и интересное».

Затем, после описания наголо бритого и бледного Днепро-вского, следует то самое «очень важное и интересное»:

«Он рассказал, как во времена гражданской войны 1919 – 1920 гг. его, после перенесенного сыпного тифа мобилизовали в Красную Армию, и так как он был слабосильный, но «грамотный», поставили писарем в комендатуре той части, которая производила расправу с остатками неспособной уже к сопротивлению белой армии. Где-то на Дону, я забыла, где именно. Операции сводились к тому, что днем делали облаву, а ночью всех расстреливали из пулеметов. Вещи убитых командиры забирали себе. Однажды на расвете, после очередной ночной расправы, в помещение, где дежурил Днепро-вский (спать он не мог из-за грома канонады и страшных криков), вошел начальник с двумя деревянными чемоданчиками в руках. Он передал их Днепро-вскому со словами: «Ты, Ваня, у нас литератор, понимаешь в литературе, прочитай и скажи, стоит ли чего-нибудь эта писанина». Рукопись произвела на Днепро-вского сильное впечатление: это была настоящая большая литература, но антисоветская. Об этом он сказал командиру, возвращая рукопись [...] Фамилию того расстрелянного офицера Днепро-вский называл, но я ее забыла».

Такова первая часть сообщения Днепро-вского. За ней следует рассказ о мытарствах Днепро-вского – борца за правду:

«Через восемь лет, читая только что вышедший и сразу нашумевший «Тихий Дон», Днепро-вский был поражен, узнав в нем произведение, которое в дни гражданской войны командир давал ему для оценки».

Хранить в себе эту жуткую тайну писатель не смог и:

«После некоторых колебаний, Днепро-вский поехал в Москву. Сведения о Шолохове, которые он получил в тамошних литературных кругах, не противоречили наличию плагиата».

Отметим первую странность – Днепро-вский, в отличие от Аллы Йогансен, имя истинного автора помнил. Поэтому, окажись Шолохов даже не «маляром, грузчиком, конторщиком»,

*Письмо А. Гербурт-Йогансен опубликовано в журнале «Континент» (№ 44, 1985, с. 303 – 308); мы пользуемся ссерокопией машинного оригинала. В приводимых цитатах выправлена сильно украинизированная орфография подлинника («літераторами», «туберкульозом» и т. п.). _____

который, «с 1922 г. проживает в Москве», а белым офицером и выпускником Оксфорда, суть дела не меняется – имя автора «Тихого Дона» известно, и автор этот – не Шолохов!

Так или иначе:

«Иван Днепровский явился на аудиенцию к М. Горькому, который возглавлял Горьковский комитет при Союзе писателей, и рассказал ему о своем открытии. Горький очень внимательно выслушал, попросил подать заявление в письменном виде, обещал выяснить дело и дать ответ через пару дней».

Но:

«Напрасно ходил Днепровский целую неделю в Союз писателей в надежде на свидание с Горьким. Горький не принимал больше по болезни и скоро слег на лечение в Кремлевскую больницу.

Один служащий Московского государственного издательства, украинец, знакомый Днепровского, которому Днепровский рассказал причину своего приезда в Москву, сказал: «Мы и сами это знаем. К нам в бухгалтерию, вскоре после выхода «Тихого Дона», приходила пожилая дама в трауре и требовала гонорар за это произведение ее сына. Мне жаль, что ты даром теряешь тут время, без денег в чужом городе. Горький ведь не вернется. Мой тебе, Ваня, совет: возвращайся домой и никогда, никому про это не рассказывай».

Единственное, что напоминает заключительный аккорд нашей истории, – это фразу из романа писателя – земляка Днепровского: «Варенуха, никуда не ходи и телеграммы эти никому не показывай!»

Итак, Днепровский, как и Варенуха, нарушил запрет. Но что гарантирует достоверность его собственных слов? Ну, во-первых, перед смертью человек, как правило, не лжет... Во вторых, какой был смысл врать? Ничего, кроме неприятностей, такие рассказы ни Днепровскому, ни его слушателям принести не могли. Есть, конечно, в рассказе и несуразности: «Тихий Дон» вышел в 1928 году. Днепровский некоторое время колебался, а затем обратился к Горькому... Но что это за таинственный Горьковский комитет при Союзе писателей? Видимо, имеется в виду «Оргкомитет Союза советских писателей», который, действительно, возглавлялся М. Горьким. Правда, «Оргкомитет» был создан по решению ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года... Не четыре же года Днепровский колебался и собирался в Москву! Впрочем, вероятнее всего, мы имеем дело с обычной аберрацией памяти Аллы Гербурт-Йогансен – невозможно же 30 лет помнить, когда у них какое постановление вышло!

Заканчивая рассказ о Днепровском, Алла Гербурт-Йогансен пишет:

«В Харькове агенты НКВД два раза приходили арестовывать Днепровского. Но так как тогда уже состояние его здоровья настолько ухудшилось, что его нельзя было транспортировать – оставили умирать дома».

Тут нужно сделать еще одну поправку: умирать его, быть может, оставили дома, но умер он 1 декабря 1934 года в Ялте. Возможно, в памяти А. Гербурт-Йогансен слились два события – смерть и похороны (хоронили Днепровского, действительно, в Харькове).

Но с каким бы доверием ни относились мы к рассказу г-жи Гербурт, совершенно очевидно, что две части его неравноценны, и вторая имеет значение лишь в той мере, в какой истинна первая его часть.

Истинна ли она? Действительно ли Днепровский держал в руках рукопись романа, написанную рукой подлинного автора? Напомним еще раз обстоятельства происшествия: сыпной тиф, мобилизация в Красную Армию, слабосильная команда, Дон, расстрелы, рукопись...

Украинский писатель Иван Днепровский (он же: Шевченко Иван Данилович) родился 8 марта (24 февраля ст. ст.) 1895 года. В первую мировую войну был призван в армию, где в газете Юго-Западного фронта «Армейский вестник» опубликовал в 1916 году свои первые (еще по-русски) стихи. Служил он до 1918 года, а в феврале 1919-го поступил на филологический факультет Каменец-Подольского университета, который и окончил в 1923 году.

Вот и все сведения о жизни Ивана Даниловича Днепровского-Шевченко в огненные годы революции и гражданской войны, вошедшие в справочник «Українські письменники. Біо-бібліографічний словник» (т. 4, Київ, 1965, с. 409). Ничего не сказано, например, о том, чем занимался будущий писатель с момента демобилизации из разбежавшейся старой армии (то есть

не позднее февраля 1918 года) до поступления в Каменец-Подольскую «сорбонну» в феврале 1919-го. А ведь все это время, да и в феврале 1919-го, в городе целиком и полностью хозяйничали интервенты и петлюровцы. И не просто хозяйничали, но собирали в Каменец-Подольске мощный румыно-франко-сербский военный кулак, нацеленный в самое сердце Советской Украины*. Причин умолчания об этом биографическом отрезке могло быть множество, и, быть может, какая-то из них объяснила бы нам острый интерес НКВД к чахоточному писателю?.. Не будем гадать, интереснее другое: не было и не могло быть у составителей 4-го тома справочника «Українски письменники» никакой причины скрывать службу писателя в Красной Армии!

А значит: писатель Иван Днепровский в Красной Армии не служил, писарем при красноармейской комендатуре не был, красные его на Дон не посылали... Иными словами, весь рассказ о фанерных чемоданах, антисоветских рукописях и разговорах с Горьким – все это, как нам ни больно, ложь от первого до последнего слова.

Зачем Днепровский мистифицировал своих коллег? Этого мы никогда не узнаем. Быть может, он излагал замысел задуманного им произведения, а литературно невинная Алла Йогансен этого не поняла?

А может быть, для него самым важным было вовсе не рассказать о Шолохове и Горьком, а придумать себе красноармейское прошлое, тогда как на самом деле...

Так или иначе, перед нами еще одна легенда, дошедшая из вторых уст через третьи руки.

След «Тарасов»

Все, абсолютно все фантастично, что связано с Ильей Самсоновичем», – пишет Лилия Беляева в очерке, посвященном старому большевику И. С. Шкапе. Во-первых, ему 90 лет; во-вторых, только 70 из них он провел на воле; в-третьих, он не просто живой, но живой «бухаринец»... Но и этого мало: И. С. Шкапа был другом М. А. Шолохова. К Шолохову Шкапа и пришел в 1955 году после отсидки. А перед тем, как сесть, Шкапа, под литературным псевдонимом Гриневский, заведовал «историей текущей культуры» в журнале «Наши достижения». Еще он написал книгу «Крестьянин о советской власти», а Горький дал к ней предисловие. А о второй книге Шкапы – «Лицом к лицу», о поездке вместе с ударниками труда вокруг Европы – Горький писал в письме: «Интересная ваша книга». Значит, кроме Шолохова, ходил у Шкапы в друзьях еще и Максим Горький!

Понятно, что журналистка не в силах сдержать себя и задает –

«нечаянный вопрос: а как Максим Горький относился к Михаилу Шолохову?

– Сначала с некоторым подозрением. Нашлись, наговорили, мол, не мог молодой человек написать такое произведение, это компиляция из Тарасова. Был такой бытописатель... [...] И все-таки, на мой взгляд, он (Горький. – Б.-С.) умер с ощущением неполного понимания феномена Шолохова»**.

Почему вырвался у Л. Беляевой нечаянный вопрос, ясно: слишком много и часто говорилось, что Горький знал правду о романе и Шолохове. Толкового ответа на свой вопрос журналистка, конечно, не получила. Зато мы получили сведения о возможном авторе «Тихого Дона», причем сведения о возможном авторе «Тихого Дона», причем сведения, исходящие из ближайшего окружения А. М. Горького.

Имя Тарасова в числе возможных кандидатур на авторство романа никогда еще не называлось. Уже одно это заставляет нас отнестись к словам И. С. Шкапы со всем вниманием.

Итак, что же мы узнали? Предполагалось (не сказано кем), что роман «Тихий Дон» – компиляция из произведений (или одного произведения?) писателя Тарасова, про которого сказано, что он был бытописателем. На последнем обстоятельстве И. С. Шкапа останавливается особо (отвечая, быть может, на вопрос Л. Беляевой?), из чего, в свою очередь, следует, что Тарасов – личность не особенно известная.

Скажем больше: совсем неизвестная. Все наши поиски привели лишь к обнаружению Тарасова Евгения Михайловича (1882 – 1943), который, однако, никакой не бытописатель, а поэт, автор стихотворения «Смолкли залпы запоздалые...» (1906)***.

Впрочем, нельзя исключать, что Шкапа имел в виду не простого Тарасова, а какого-то особенного...

Такой непростой Тарасов, действительно, имелся – Александр Игнатьевич Тарасов-Родионов. В свое время, если Шкапа имел в виду данного Тарасова, объяснять, кто он такой, нужды не было, напротив, многие были бы рады о нем не знать...

А. И. Тарасов-Родионов родился в Астрахани, в семье землемера, в 1885 году и окончил

*Доклад народного комиссара по военным делам т. Н. И. Подвойского [...] 1 марта 1919 г. – «Из истории гражданской войны в СССР», т. 1. М., 1960, с. 665.

**Беляева Лилия. «Готов ручаться за него головой...» – Литературная газета, 1988, № 47 (23 ноября), с. 5.

***«От Евгения Тарасова мы были вправе ждать хороших стихов, несмотря на то, что первая его книжка была совсем слаба. [...] На днях вышла вторая книжка его стихов – «Земные дали» (издание «Шиповника»). Боже мой, какая возмутительно лишняя, слабая и бездарная книга!» – А. А. Блок «Литературные итоги 1907 года» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, М. – Л., 1962, с. 229).

юридический факультет Казанского университета в 1908-м. При этом ему удавалось совмещать учебу с пребыванием в рядах РСДРП (с 1905 года). В марте 1917-го его посылали в Царское Село проверить, как содержат под стражей свергнутого монарха. Дальше дворцовой кухни Тарасова-Родионова, правда, не пустили, однако кухней он остался весьма доволен*. После Октября Тарасов-Родионов вступил на военную стезю, дослужился до командарма, а затем с 1921 по 1924 г. работал следователем в Верховном трибунале. На этот раз он совмещал трибунал с литературой и в 1922 году опубликовал в журнале «Молодая гвардия» нашумевшую повесть «Шоколад». В повести рассказывалось, как одному чекисту контрреволюционная буржуазия подарила несколько плиток шоколада. Получателя шоколадной взятки судит трибунал. Судьи и подсудимый приходят к единогласному мнению, что выхода нет, и героя придется расстрелять. Что и происходит. Автор полностью солидарен со своими персонажами. В 1927 – 1930 годах Тарасов-Родионов публикует еще две книги, обе о революции: «Февраль» и «Июль». Эти книги выполнены в виде мемуаров. Кроме того, Тарасов-Родионов работал еще в критическом жанре. Самая известная его статья ««Классическое» и классовое» (журнал «На посту», 1923, № 1) направлена против «воронщины» (то есть А. К. Воронского). В 1938 году писателя Тарасова-Родионова посадили и расстреляли, а в 1956-м реабилитировали. Вот и все о Тарасове-Родионове.

Есть, правда, одна деталь: со вступлением А. И. Тарасова-Родионова на пост главного редактора Госиздата, надолго прекратилась публикация выходивших в этом издательстве брошюр с рассказами М. Шолохова. При этом в личном письме (от 21 июня 1927 г.; ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. хр. 431, л. 4) Тарасов-Родионов уверял Шолохова в «дружеском содействии», однако в это же самое время, выкинул из 9 рассказов шолоховского сборничка «О Колчаке, крапиве и прочем» (М. – Л., Госиздат, 1927) сначала 4 рассказа, а потом еще один**. Вот она – л и ч н а я , документально подтвержденная связь Тарасова-Родионова с Шолоховым. Смутные указания Шкапы обретают наконец какую-то определенность.

Но одно обстоятельство портит всю картину – бытописание. Во многом можно упрекнуть Тарасова-Родионова – в литературной неопытности, в надуманности фабул, в идеологической непримиримости... Но ярлык бытописателя ему никто еще не отважился прилепить. Никакого быта Тарасов-Родионов не описывал и описывать не умел. Не говоря уже о том, что вряд ли влиятельный в 20-е годы Тарасов-Родионов позволил бы юному наглецу из провинции безнаказанно раскулачивать свои произведения, добавим последний штрих: Тарасов-Родионов никогда не писал о казаках.

На этом, собственно, можно поставить точку. Что-то Шкапа то ли запомнил, то ли напутал...

Допустим, однако, последнее: Шкапа что-то напутал. Что именно и в чем? Вот он упомянул фамилию «Тарасов», мы доверились Шкапе, добрались до Тарасова-Родионова, убедились, что он искомым «Тарасовым» не является, и уличили Шкапу в заблуждении. А что если правы и мы, и Шкапа?!

Мы предположили, что под фамилией Тарасов скрывается Тарасов-Родионов, но ведь можно представить себе и обратный ход ассоциаций: Шкапа запомнил, что фамилия предполагаемого автора романа «Тихий Дон» напоминала фамилию популярного писателя Тарасова-Родионова, только была она не двойной, а «одинарной». И тогда Шкапа называет имя «Тарасов». Но ведь он мог ошибиться и выбрать не ту «половину». А вспомнить надо было: Р о д и о н о в !?

Современному читателю это имя говорит ровно столько же, сколько Тарасов-Родионов. Но в 1909 году ведущий «нововременский» критик и публицист М. О. Меньшиков сравнивал его книгу с «Воскресением» Толстого и называл его «знаменитым в будущем писателем» («Новое время», 1909, 25 октября). Корней Чуковский счел это произведение «самой отвратительной, самой волнующей, самой талантливой из современных книг» («Речь», 1910, 28 февраля).

Книга, о которой говорили такое, называлась «Наше преступление (Не бред, а бль)». Из современной народной жизни» и в 1909 – 1910 годах вышла шестью изданиями. Автора звали Иван Александрович Родионов.

По содержанию своему «Наше преступление» более всего напоминает писания ранних «деревенщиков» (Яшина, Шукшина, Семина). Народ у Родионова спился, в деревнях что ни день пьяные драки и убийства по пьянке. Процветает пьяный разврат, не различающий возраста и родства. Население вырождается... А виноваты во всем «мы», то есть интеллигенция и те, кому вручены бразды правления.

Прогрессивная и либеральная печать единодушно объявила И. А. Родионова черносотенцем. Любовь Гуревич в «Русской мысли» (1910, № 5) возмущалась тем, что у Родионова вместо

*Мстиславский С. Пять дней, Начало и конец Февральской революции. (Изд. 2-е). Берлин – Пб. – М. Изд-во З. И. Гржебина, 1922, с. 104 – 105.

**Гура В. Вечно живое слово (Новые материалы о Шолохове). – Вопросы литературы, 1965, № 4, с. 16 – 17. «высшей правды – кошмары эмпирической правды», вместо «настоящего искусства – фотография», обличала «полную художественную некультурность автора» и порицала К. Чуковского за эстетическую всеядность*. М. Горький, негодуя, писал о «злой и темной книге» Родионова («Современный мир», 1911, № 2), а сотрудник Горького Е. Смирнов называл ее «гнусным пасквилем» на русское крестьянство (там же).

Горький долго не решался прочесть «Наше преступление» и писал по этому поводу: «Я не читал книгу Родионова и, должно быть, не буду читать ее. Плохое в людях и жизни – мало интересует меня, я вижу его слишком много».

Самое поразительное, что от письма, из которого взяты эти слова, протягивается нить к еще не рожденной тайне «Тихого Дона» – письмо было послано в декабре 1909 года Федору Крюкову**.

Из биографии И. А. Родионова известно немного. Книгу свою он писал по живым следам, будучи земским начальником в Боровичах (Новгородской губ.)***. Был близок к церковным кругам, о чем можно судить по одному эпизоду из воспоминаний Сергея Труфанова (бывший иеромонах Илиодор):

«В декабре 1911 года я приехал в Питер к владыке, приехал из Ялты и Гриша (Распутин. – Б.-С.). [...] Мне сказали, что ходят в свете слухи, что Гриша живет с Царицей. [...] Я отвез Гришу к владыке. Владыка заклинал Гришу не ходить без его и моего благословения в Царский Дом. Митя (Козельский, один из придворных юродивых. – Б.-С.) начал бранить его и хватать за член. Гриша обещался с клятвой перед иконою с мощами не ходить к Царям. Свидетели этому – я и Ив. Ал. Родионов»****.

Опубликовал И. А. Родионов, кроме «Нашего преступления», еще несколько книг «Москва-матушка» (Былина)» (Спб., 1911; 2-е изд.: Берлин, 1921); «Любовь» (Берлин, из-во «Град Китеж», 1922); «Царство Сатаны» (Берлин, б. г.).

Еще известно о Родионове. Что был он страстный антисемит и оставался им до последнего вздоха. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (он же – князь Д. Шаховской, он же – поэт Странник) в письме генералу П. Н. Краснову, предостерегая об опасностях юдофобства, рассказывал о смерти писателя:

«Вот бедняк Ив. Ал. Родионов, пред кончиной своей, вздумал «перетолковывать» Апокалипсис, сообщая своим идеям; и – сын его Гермоген, мне рассказывал, что нельзя передать, до чего УЖАСНА была кончина его отца. Буквально, словно какой-то невероятный ужас диавольский вздыбил Ивана Ал., после чего он упал бездыханным... Мы предупреждали Ив. Ал., что Слово Божие есть меч обоюдоострый...»*****.

С генералом П. Н. Красновым мы вступаем в самую волнующую область нашего повествования – Область Войска Донского. Дело в том, что генерал знаком был с Родионовым не понаслышке: еще в 1918 году Краснов поручил ему издавать газету Всевеликого Войска Донского «Донской край». Чести этой Родионов удостоился как за «Наше преступление», так и за безупречное происхождение – был он донской казак и казачий есаул*****.

Казак, антибольшевик, в самой гуще событий... Такому человеку только «Тихий Дон» и писать!

Беда, однако, в том, что Родионов сразу по следам событий обо всем этом и написал: повесть «Жертвы вечерние (не вымысел, а действительность)» (Берлин, 1922). Не напиши он этой повести, был бы кандидатом в авторы «Тихого Дона» не хуже других...

«Жертвы вечерние» – повествование о жертвах гражданской войны на Юге и о причинах войны. На всем протяжении книги главный герой, юный казачий офицер, в долгих беседах с возлюбленной обнажает тайные пружины творящихся безобразий – жида и масоны... Это то, что касается идеологии. А вот – художественные особенности:

«Его (Чернецова. – Б.-С.) легендарные победы окрылили надеждами всех тех, кто стоял на стороне

*«Без мерил («Наше преступление» И. Родионова и К. Чуковский)». – В кн.: Гуревич Л. Литература и эстетика. Критические опыты и этюды. М., «Русская мысль», 1912, с. 133 – 140.

**М. Горький. Письмо Ф. К. Крюкову (Публикация Б. Н. Двинянинова). – «Русская литература», 1982, № 2, с. 98.

***Нинев А. А. Бунин и Горький. 1899 – 1918 гг. – «Иван Бунин», кн. 2 («Литературное наследство», т. 84). М., «Наука», 1973, с. 65.

***Илиодор, б. Иеромонах (Сергей Труфанов). Гриша. – В кн.: Белецкий С. П. Григорий Распутин (Из записок). Пгрг., «Былое», 1923, с. 97.

****Странник. Переписка с ген. П. Н. Красновым. – «Континент», № 56, 1988, с. 317; Странник приводит название еще одной книги И. А. Родионова: «Сыны дьявола» (возможно, имеется в виду «Царство Сатаны»).

****Мельников Н. М. А. М. Каледин – герой Луцкого прорыва и Донской Атаман. (Париж). «Родимый край», 1968, с. 238. _____
порядка и государственности, кто ненавидел злую разрушительную силу, кто хотел спасения казачества, а через него и всей России. Все лучшие надежды и чаяния сосредоточились главным образом на одном Чернецове, он являлся всеми признанным антибольшевистским вождем...»

Это вам не «Тихий Дон»... Ох, не «Тихий Дон»!..

Что из всего этого следует? Ясно, что Родионов «Тихого Дона» не писал и написать не мог (в этом отношении он очень близок к Шолохову)... Но самое главное – Горький! Из рассказа Шкапы можно сделать однозначный вывод: ни сам Горький, ни его ближайшее окружение имени подлинного автора романа не знали, хотя понимали (не могли не понять), что был он не Шолохов, а белогвардеец.

Воздушные пути

«Тихий Дон»!.. Как будто на одном «Тихом Доне» зиждется меркнущая слава Шолохова, – есть ведь еще «Поднятая целина»!

Правда, злопыхатели нет-нет да и твякнут, что, мол, «Поднятая целина» хуже «Тихого Дона». Что значит – хуже? Где доказательства?

Возьмем хоть первую книгу «Целины», главу, скажем, 21-ю:

«По плану площадь весенней пахоты в Гремячем Логу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 – целины. Под зябь осенью было вспахано – еще единоличным порядком – 643 гектара, озимого жита посеяно 210 га. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком: пшеницы – 667 гектаров, жита – 210, ячменя – 108, овса – 50, проса – 65, кукурузы – 167, подсолнуха – 45, конопли – 13. Итого – 1325 га плюс 91 га отведенной под бахчи песчаной земли, простирившейся на юг от Гремячего Лога до Ужачиной балки.

На расширенном производственном совещании, состоявшемся 12 февраля и собравшем более 40 человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, о ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ.

По совету Якова Лукича, Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего – 4669 пудов».

Да!.. И ведь это не просто подвернувшийся под руку отрывок – это один из трех образцов романа, которые Шолохов, гордясь собой, отобрал для публикации в «Правде». Чтоб все увидели, как он умеет!

Вот еще кусок, из той же 21-й главы, в том виде, как он 15 февраля 1932 года появился в «Правде» (№ 45, с. 3):

«После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки:

Твердой земли на плуг0,60 гектара.
Мягкой земли на плуг0,75 гектара.

И по высеву для садилок:

11-рядной3 ¼ гектара.
13-рядной4 гектара.
17-рядной4 ¾ гектара.

При общем наличии в Гремячем Логу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич...»

Это что такое?! Что за жанр такой? Да ведь это – протокол! Ей-Богу – протокол. Общего собрания колхозного актива.

И, главное, никаких сомнений в авторстве. Почему? А потому, что биографы раскопали самый ранний образец шолоховской прозы – об установлении величины посевов, каковая величина устанавливалась:

«путем агитации в одном случае, путем обмера – в другом и, наконец, путем того, что при даче показаний и опросе относительно посева местный хуторской пролетариат сопоставлялся с более зажиточным классом посевщиков».

Это произведение хранится в Шахтинском филиале Госархива Ростовской области (фонд Р-760, ед. хр. 209, л. 13 об.) и представляет собой обязательный реферат, который 16-летний Миша Шолохов писал, обучаясь в феврале-апреле 1922 года на курсах продинспекторов*.

*Палшков А. Молодой Шолохов (по новым материалам). – «Дон», 1964, № 8, с. 170; Воронин В. Юность Шолохова (Страницы биографии 1905 – 1928 гг.). – «Дон», 1985, № 5, с. 159.

Читая такое, испытываешь гордость за Шолохова, и через 10 лет не изменившего своей творческой манере. С другой, правда, стороны, будит это чтение какое-то бешенство, когда тебя уверяют, что протокол, реферат и «Тихий Дон» выводила одна и та же рука.

Но вот Солженицын в третьем томе «Очерков литературной жизни», десять страниц посвятив разбору этой литературной завали и тому, как послушно исполнял Шолохов социальный заказ, вдруг восклицает: «А пейзажи? ... такое нечасто и во всей русской литературе найдешь»*.

Тут же и пример: «Под самой тучевой подошвой, кренясь, лоя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния... уронив горловой баритонистый клекот... сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух... сухим треском ударил гром...»

И не один такой пейзаж в книге. Нет – вот и «месяц золотой насечкой на сизо-стальной кольчуге неба», лиса мышкует, конь без всадника, могильный курган...

«Впрочем, – спохватывается Солженицын, – с этими пейзажами – такая странность. Замечаешь: а почему ж эта великолепная туча никак не связана ни с настроением главы? ни с окружающими событиями? как будто она и не намочила никого?... Ее можно перенести на несколько глав раньше или позже – и так же будет стоять...»

Но ведь, замечает Солженицын, и все другие пейзажи – мороз или таяние – тоже «свободно переставляемь!»

Однако такая свобода передвижения дается не всем. Вот, например, глава 34-я. Начинается она с описания могильного кургана. Тут же подходит Макар Нагульнов. Его только что из партии исключили. Вот он и подумывает: а не застрелиться ли мне, в самом деле?! Классический образец прямой и обратной связи пейзажа и настроения.

Вглядимся, впрочем, в курган. При этом вглядимся в него не по книжному тексту и даже не по журнальной публикации**... Рукопись, конечно, как водится, пропала, но тут такое чудо произошло – отыскались 155 страниц наборной машинописи с шолоховской правкой. Вот к этой допечатной редакции*** мы и обратимся:

«Сбочь дороги – могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней польни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно-тусклые¹, выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней выветрившейся почвой свои волокнистые былки², весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески уныло³, отжившие⁴, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И только лишь осенью кажется, что величаво присосанившийся курган караулит степь⁵, одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.

Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подблачья степной беркут⁶. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить погнутом⁷ клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно-синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно-синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. неподвижный, изжелта-бурый, как камень-самородок⁸, беркут отдыхает⁹ перед вечерней охотой¹⁰ и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.

Куда унесет его знобящий осенний ветер¹¹? В голубые предгорья Кавказа? В Мурганскую степь ли? В Персию¹²? В Афганистан?

Тут что потрясает? Потрясает размах, в первую очередь – географический: Кавказ, Закавказье,

*По донскому разбору. – Вестник РХД, № 141, 1984, с. 132.

**Новый мир, 1932, № 7/8, с. 87.

***Бекедин П. В. М. А. Шолохов в работе над «Поднятой целиной» (Авторская правка в наборной машинописи первой книги романа). – «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 год». Л., «Наука», 1984, с. 230 – 231, 236 – 237.

¹ В книжных изд.: «Безрадостно тусклые»; ² Вставка в машинопись: «даже»; ³ В журнальных изд.: «старчески-уныло»; ⁴ В книжных изд.: «отжившие»; ⁵ Вставка в машинопись: «весь»; ⁶ В машинописи не разобрано зачеркнутое слово; ⁷ В книжных изд.: «изогнутым»; ⁸ Журнальный текст и книжные изд. следуют внесенной в машинопись правке: «Как камень-самородок, недвижимый и изжелта-бурый (...); ⁹ В журн. редакции и книжных изд.: «отдохнет»; ¹⁰ В книжных изд.: «ловитвой»; ¹¹ В соответствии с правкой, внесенной в машинопись, в журн. и книжн. публикациях: «унесут его знобящие осенние ветры»; ¹² Вставка в машинопись: «ли».

Персия, Афганистан... Интересно, с чего это беркута понесло в такую даль? Нагульнов, к примеру, в тех краях отродясь не бывал. А бывал он на Дону, где родился и откуда ушел на германский фронт (см. гл. 4), в 1920-м – под Каховкой и Бродами (см. гл. 24), был ранен и контужен под Касторной (гл. 4, 32), то есть служил, как можно догадаться, в Первой Конной; затем вернулся на Дон, провел коллективизацию и умер. Проще говоря, допустив связь беркута с Макаром Нагульновым, мы оказываемся свидетелями полнейшего авторского произвола.

Перестанем поэтому цепляться за Нагульнова и отправимся по указанному беркутом странному и загадочному маршруту.

Что может связать донскую степь с предгорьями Кавказа, Персией и Афганистаном?

Лишь одно – биография генерала Л. Г. Корнилова! Это он совершал бесстрашные разведки в Афганистане, первым исследовал соляные пустыни в Персии, сражался на Дону и погиб при штурме Екатеринодара, «в голубых предгорьях Кавказа». Труп Корнилова был вырыт красными из могилы, проташен по улицам Екатеринодара, изуродован и сожжен на городской бойне. Прах генерала был растоптан и развеян ветром.

«Куда унесет его знобящий осенний ветер?..»

Вдова Корнилова сказала тогда вдове атамана Каледина: «Счастливая, у вас есть могила, а у меня и могилы нет...»* Могильный курган в донской степи и должен стать символом вечной памяти о лишенном могилы великом человеке.

Правда, на нашей «розе ветров» вырос один лишний лепесток – Муганская степь! Она не только к Нагульнову, но и к Лавру Георгиевичу Корнилову никакого отношения не имеет.. Но именно эта степь и может служить решающим доказательством.

Начнем с того, ветру, пожелавшему доставить беркута из предгорий Кавказа в Муганскую степь, пришлось бы передуть через Большой Кавказский хребет – 3000 метров над уровнем моря. На такой высоте парят уже не степные беркуты, а горные орлы.

Но наше внимание останавливает «степь». Вот Федор Константинович Годунов-Чердынцев, герой набоковского «Дара», пытается представить себе возможную картину гибели отца:

«Долго ли отстреливался он. Припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели ли его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда [...], приняв за белого шпиона (да и то сказать: с Лавром Корниловым однажды в молодости он объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае)?**»

В среде русских географов исследование Степи Отчаяния (Дашти-Наумед, на современных картах: Дашти-Наумид) – безжизненной соляной пустыни, раскинувшейся между 32-й и 33-й параллелями. Считалось самым замечательным достижением Корнилова-путешественника. Следовательно, в непредвзятом повествовании о Л. Г. Корнилове (принадлежит оно Автору «Тихого Дона» или Набокову) вероятнее всего следовало бы ожидать упоминания именно об этой экспедиции.

Мало того – Степь Отчаяния идеально вписывается во внутреннюю географию текста – «В Муганскую степь ли? В Персию? В Афганистан?», поскольку находится как раз на границе Ирана и Афганистана.

Подготавливая 34-ю главу к печати, Шолохов сделал в этом месте мельчайшее добавление – вставил невинную частицу «ли»:

«В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?»

Цель правки очевидна: еще больше отдалить «степь» от Персии. Но, определив направление редактуры, мы можем сделать и шаг назад – в дошолоховское прошлое текста. Там «Персия» входит не в вялую цепочку однородных обстоятельств места, но служит пояснением к предшествующему наименованию и отделяется от «степи» не вопросительным знаком, а запятой:

«Куда унесет его знобящий осенний ветер? В голубые предгорья Кавказа? В Степь ли Отчаяния, в Персию? В Афганистан?»

А теперь последний вопрос: откуда взялся этот отрывок? Стилистически он весьма близок роману «Тихий Дон»; генерал Корнилов является одним из персонажей романа; по ряду деталей

*Севский В. Генерал Корнилов. Ростов н/Д, Изд. Корниловского ударного полка, 1919, с. 96.

**Не исключено, что самим своим появлением в романе «Дар» Корнилов обязан «Тихому Дону». В. Набоков, публично обозвавший казачью эпопею «горой избитых банальностей», вряд ли прошел мимо такой сцены:

«Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускаясь планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегающе задыхался, откинувшись на спинку кресла» (кн. 2, ч. 4, гл. 16).

Отец Годунова-Чердынцева, как мы помним, был выдающимся русским энтомологом, специалистом по чешуекрылым, сиречь – бабочкам.

мы установили, что отрывок этот – поэтический реквием вождю Добровольческой армии...

Но в «Тихом Доне» смерть Корнилова не описывается! И тогда мы обращаем внимание на странную непоследовательность опубликованного текста романа.

Автор «Тихого Дона» заворуженно следит за деятельностью генерала Корнилова в Ставке (кн. 2, ч. 4, гл. 13), его поездкой на Московское совещание (гл. 14), организацией и крушением корниловского «мятежа» (гл. 16, 18), пребыванием Корнилова в Быховской тюрьме и бегством из тюрьмы (гл. 20). Затем действие перебрасывается в Новочеркасск (ч. 5, гл. 3) – в Ростов, начало «Ледяного похода», совещание штаба Добровольческой армии, где Корнилов принимает решение идти на Кубань (гл. 18) и... И все!

Евгения Листницкого, ушедшего из Ростова с Добровольческой армией, мы встречаем уже в следующей – 3-й – книге, после «Ледяного похода», в Новочеркасске, с ампутированной рукой. Здесь же (гл. 5) последнее и единственное упоминание о Корнилове – Листницкий вспоминает бой под Кореновской и крики ротного: «Не ложись! Орлята, вперед! Вперед – за дело Корнилова!»

Открытый нами «Реквием Корнилову» тематически на редкость удачно заполняет какую-то часть этого зияния. Однако тематическая близость еще не все. Истинно доказательными могут стать лишь внутренние связи нашего фрагмента с «корниловскими» сюжетами «Тихого Дона». Связи эти должны быть особого свойства: если некоторая линия повествования завершается символическим текстом, то в предыдущем изложении должны содержаться ключи к раскрытию символов. Ну, что ж – вот они!

Ключ фабульный:

«Куда унесет его знобящий осенний ветер? В голубые предгорья Кавказа? В Степь ли Отчаяния, в Персию? В Афганистан?»

«Тихий Дон» (кн. 2, ч. 4, гл. 16) –

«[...] Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь, стал рассказывать:

– Сегодня я видел сон. Будто я – бригадный генерал одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он потчует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: «Кушай, генерал! Это молоко необычайно целебного свойства». Я будто бы пью и не удивляюсь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уж как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе... Да, вот именно козьей тропкой: камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу за ущельем виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт...»

Ключ портретный:

«Неподвижный, изжелта-бурый, как камень-самородок, беркут отдыхает».

«Тихий Дон» (кн. 2, ч. 4, гл. 14) –

(Евгений Листницкий вспоминает встречу Корнилова 14 августа 1917 года на Александровском вокзале в Москве):

«Какое лицо! Как высеченное из самородного камня – ничего лишнего, обыденного...»

Рассказ о гибели Лавра Георгиевича Корнилова – это только часть того, что было украдено у читателей «Тихого Дона». Но что говорить о куске текста, когда украдено даже имя Автора?!*

* Зеев Бар-Селла. «Тихий Дон» против Шолохова», ж-л «Даугава», №№ 1,2, 1991. Начало см. «Даугава» № 12, 1990 г.